

Воспоминания и архив

Хранитель предания

(С.А. Волков и его воспоминания о Московской духовной академии)

В 20-х и даже еще в 30-х годах нашего века Загорск — бывший Сергиев Посад, затем город Сергиев — оставался явлением исключительным для посвященных. Маленький зеленый городок, веками слагавшийся под сенью величественных стен Троице-Сергиевой лавры, куда в 1814 г. была переведена преобразованная митрополитом Платоном (Левшиным) Московская духовная академия, прямая наследница знаменитой Славяно-греко-латинской академии, к началу XX века стал играть роль одного из главных духовных и религиозных центров России. Он притягивал не только богомольцев. Сюда тянулись философы, писатели, художники, ученые. Здесь они оседали: одни — на время, другие — на всю оставшуюся жизнь. Их влекли древние храмы православной обители, редкие по красоте окрестности, уют и тишина провинциальной жизни всего в двух часах езды от Москвы. Привлекало уникальное собрание древних рукописей, третья по величине и значению для России научная библиотека, но в первую очередь та духовная элита, которую являл собой профессорско-преподавательский состав Академии. Лекции читали лучшие знатоки церковного права, богословы, знатоки древних языков, историки Церкви, специалисты по литургике и религиоведению. Большинство их жило в Сергиевом Посаде в собственных домах, подобно семьям белого духовенства и родственникам монашествующих.

Было и другое немаловажное обстоятельство. С конца 1917 г. Сергиев Посад стал местом ссылки части петербургской и московской аристократии, интеллигенции, либеральной буржуазии. На его улицах можно было встретить бывших камергеров, фрейлин, журналистов, давно вышедших в отставку генералов, книгоиздателей и промышленников, деятелей земства и членов Государственной думы. В этом удивительном мире, на переломе двух эпох, оказался молодой Сергей Александрович Волков.

Он родился 19 февраля 1899 г. (по старому стилю) в селе Маврино Богородского уезда Московской губернии. Отец его был крестьянин, мать — народная учительница. Семья оказалась не слишком благополучной: отец пил, уходил из семьи и умер, по-видимому, до 1917 г. Сын не любил о нем вспоминать. Мать умерла в 1935 г., и до конца ее дней он сохранял к ней удивительную сыновью любовь, а позднее — столь же нежную память. В Сергиев Посад семья переехала в 1909 г., видимо, в связи с поступлением С.А. Волкова в гимназию, которую он окончил в 1917 г., тогда же поступив в Московскую духовную академию. И хотя проучился он в ней недолго — весной 1919 г. Академия была закрыта, — выбор этот оказал решающее влияние на всю его последующую жизнь.

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что С.А. Волков был рожден именно для Академии с ее торжественным богослужением, сопровождаемым древними распевами, с поисками древней мудрости, чувством сопричастности всей мировой культуре и истории человечества, с удивительным сплавом догматизма, порывов чистой веры и интеллектуального скептицизма. Это был мир в мире, сочетающий схоластику и экстаз, переплетающиеся с

позитивным знанием, раз навсегда утвержденный ритуал и бесконечную изощренность утонченной философской мысли; мир, требующий от человека не такой уж большой аскезы, но зато предлагающий взамен все сокровища человеческого духа. Вот эта тяга к знанию, врожденное чувство мистицизма, великолепная память и редкий дар слушать и слышать собеседника позволили бывшему студенту МДА и после ее закрытия остаться в среде наиболее ярких ее профессоров, будучи как бы их «общим келейником», которому те поверяли свои мысли, делились воспоминаниями и надеждами. Так был сделан первый шаг в смешанное и одновременно изысканное общество Сергиева Посада.

Немаловажную роль при этом сыграло и следующее обстоятельство. С 1920 по 1954 г. С.А. Волков преподает в средних школах, ремесленных училищах и на различных курсах г. Загорска, как был переименован в 1929 г. Сергиев Посад, русский язык, литературу, историю СССР, зарекомендовав себя с первых же шагов педагогом «милостию Божией»: Энциклопедическая память, прекрасное знание предмета и чувство языка делали его уроки и публичные лекции своего рода праздником для учеников и слушателей. По самой природе своей С.А. Волков был не исследователем, а хранителем Знания, очень рано ощутив, что на его долю выпало, может быть, самое ответственное в те трудные годы дело — собирать, хранить и передавать последующим поколениям сокровища мировой культуры, которые тогда подвергались осмеянию и уничтожению. Все, что он смог получить из рук наставников, а в последующем и приумножить собственными трудами, он сторицей возвращал их детям и внукам, которых ему довелось обучать, воплощая в себе живую связь поколений.

Первые мои встречи с С.А. Волковым пришлось на страшные дни холодной и голодной зимы 1942-43 г., и от них в памяти почти ничего не сохранилось. Вскоре мы потеряли его из виду, и новая встреча произошла только через девять лет. С тех пор и до самой его смерти нас связывала искренняя дружба, насколько она была возможна при разнице возраста, творческих устремлений и обстоятельств жизни. Значение этой дружбы мне трудно переоценить. Исключительная в условиях провинциальной жизни тех лет библиотека С.А. Волкова, которой я мог пользоваться, а в еще большей степени — его беседы стали тем университетом, который в духовном отношении дал мне неизмеримо больше, чем последующие годы учебы в МГУ.

Хорошо помню крохотную комнатку, бывшую комнату прислуги, в коммунальной квартире на четвертом этаже 4-го Дома Советов по проспекту Красной Армии, где Волков жил до самой своей смерти. Это была настоящая келья — четыре метра в длину и около двух метров в ширину. Дверь из коридора открывалась направо и внутрь, упираясь в полки с книгами. По правой стене стеллажи тянулись почти до окна, оставляя место лишь для крохотного столика, на котором стояла лампа со стеклянным зеленым абажуром, чернильница и вазочка с карандашами. Тут же лежали стопки тетрадей, книги, а позднее стояла еще и старая пишущая машинка со сбитым шрифтом. Над столиком висели фотографии П. А. Флоренского, с семьей которого Волков был дружен и близок, несколько фотографий друзей молодости и портрет А.С. Пушкина.

Слева от входа, едва втиснувшись между стеной и притолокой двери, можно было видеть узкую железную койку, застеленную тонким шерстяным одеялом. Она упиралась в секретер карельской березы, откидная крышка которого служила для хозяина и его редких гостей обеденным

столом. За секретером оставалось место только для узкого и высокого шкафа. Справа, в большом отделении висел выходной костюм и несколько рубашек; полки слева были заняты бельем, скудной обеденной посудой, но больше книгами, которые не предназначались для глаз случайных посетителей: Ф. Ницше, Л. Шестов, Н. Бердяев, М. Гершензон, З. Гиппиус, Д. Мережковский, Д. Философов, Р. Штейнер, Е. Блаватская, В. Розанов. Там же лежали тоненькие книжечки стихов Н. Гумилева, А. Ахматовой, О. Мандельштама и Вяч. Иванова. Над кроватью в изголовье висели гравюра Хиросиге из серии «Виды города Эдо», несколько рисунков карандашом и маслом его учеников, в том числе изображавший А.С. Пушкина в Тригорском, и цветные репродукции П. Гогена из «Ноа-ноа», изданного Я. Тугенхольдом. А на секретере, на столе в вазах и между стекол окна зимой цвел осенний сад из красных и желтых листьев, которые хозяин так любил собирать во время прогулок, сушить и закладывать в книги вместе с лепестками цветов.

Единственное окно открывало вид на старый Конный двор, угловую Утичью башню Троице-Сергиевой лавры, на овраги, сады и березовые рощи, за которыми уже виднелись поля и перелески, подходившие в те годы с этой стороны чуть ли не к самым стенам Лавры...

Скуден был послевоенный быт, нищенским было наше существование, но какой контраст всему этому являли наши беседы, какой пир ума встречал меня каждый раз в этой крохотной келье, где жил, казалось бы, заурядный преподаватель русского языка и словесности! Над Загорском прокатились страшные 30-е годы, потом не менее страшные 40-е, прежних собеседников, друзей и учеников выкосили репрессии, война, голод и старость, жить было трудно, и встретив на улице тощую, сутулую фигуру преподавателя ремесленного училища в черной форменной шинели и черной ушанке, несущего в кастрюльке скудный обед из столовой, кто мог подумать, что мысли его заняты воображаемым разговором с Платоном или с Анатолем Франсом, что он скандирует про себя чеканные строфы Вергилия на классической латыни или просто складывает очередные стихи?

Между тем все так и было. Возвращаясь мыслями в годы моего военного детства и послевоенного отрочества, всякий раз я с удивлением вспоминаю, какой богатой и яркой духовной жизнью многие из нас восполняли нищету окружающего быта. В мыслях и чувствах давно ушедших людей, в образах и красках давно умерших культур мы находили удивительно мощный противовес житейским невзгодам, черпали силы, чтобы выжить, и не просто выживали — жили! Между тем вряд ли кто из моих тогдашних сверстников и соклассников понял бы, о чем мы говорили с Волковым при встречах в его келье, где интеллектуальный пир оказывался приправлен несколькими ложками постного винегрета, квашеной, только что с рынка капустой, половиной соленого огурца, отварной горячей картофелиной с постным маслом и луком и по праздникам — стопкой водки. Чуть позже в наш обиход вошли пельмени, появившиеся в продаже, кусок тушеного с овощами мяса, однако главное заключалось в другом. Древний Восток, Египет, античность, европейское средневековье, Индия, Ренессанс, русская история, живопись, поэзия, философия, религия — вот что занимало наш ум и воображение, что открывалось для меня по-новому и внове, рождая множество вопросов, подстегивая желание все охватить, узнать и понять...

Но чаще разговор возвращался к нашему «серебряному веку», который расцвел, достиг своего апогея и был разрушен на глазах у моего учителя и собеседника.

Эта блестящая страница русской культуры была представлена в библиотеке С.А. Волкова отдельными годовыми комплектами «Аполлона», «Весов», «Мира искусства», изданиями футуристов, драгоценными книжечками стихов А. Блока, Ф. Сологуба, А. Белого, М. Цветаевой, К. Бальмонта, М. Кузмина и многих других. Именно здесь я их впервые листал, постепенно осознавая, наследником какого национального богатства я на самом деле являюсь. Наверное, так же это открывали для себя и другие ученики Волкова, для которых настоящее тоже оказывалось не сиюминутным только, но частью огромной мировой культуры, общего дела всего человечества. Среди поэтов «серебряного века» для Волкова на первом месте стоял «мэтр» — В.Я. Брюсов, чьи книги, вышедшие в издательстве «Скорпион», украшены были дарственными надписями автора В.В. Розанову, дочь которого, Т.В. Розанова, жила дверь в дверь с Волковым на той же лестничной площадке.

Знаменательный перелом в жизни С.А. Волкова наступил в феврале 1954 г. Решившись порвать с бесцветным и нищенским существованием учителя ремесленного училища, он поступил на должность заведующего канцелярией в возрожденную после войны, вернувшуюся в свои древние стены Московскую духовную академию. На этой должности он проработал до 1960 г., когда вышел на пенсию. Но связи с Академией не порвались. Очень скоро после своего вступления в должность заведующий канцелярией получил приглашение преподавать в Академии русский язык аспирантам и студентам-иностранцам, что он продолжал делать и после выхода на пенсию.

Академия высоко ценила Волкова. Его блестящие лекции, яркий педагогический талант, способность дать справку по самым разнообразным вопросам духовного знания, указать соответствующую литературу, дать методические рекомендации, чем неизменно пользовалась новая профессура, ставили его в исключительное положение. Он был раритетом столь же ценным, как те, что хранились в церковно-археологическом музее, поскольку бегло говорил по-французски и по-немецки, при случае мог объясниться на латыни и разобрать без словаря греческий текст. Уже по одному этому его участие в приеме иностранных гостей оказывалось совершенно необходимым.

Наконец, Волков был последним и единственным представителем старой Академии, на которую так хотела походить Академия нынешняя, а его присутствие в этих древних стенах как бы утверждало некую духовную преемственность.

Перемена места работы, а в известной мере и всего образа жизни не могли не сказаться на моем наставнике и друге. Я замечал, как с годами менялись его взгляды, как прежний скепсис и несколько ироническое отношение к монашеству и церкви в духе его любимого Анатоля Франса и аббата Жерома Куаньяра, с которым Волков порой сравнивал себя, постепенно уходили в тень, уступая место если и не глубокой религиозности, то радостной почтительности перед тем миром, в который он смог вернуться на склоне дней. Это не мешало ему оставаться с друзьями прежним свободомыслящим философом, скептиком и эпикурейцем: за свою жизнь он достаточно много повидал, прочитал и передумал, чтобы обращать внимание

на кажущиеся разногласия между умом и сердцем... Умер он в Загорске 21 августа 1965 года.

В обширной русской мемуаристике, посвященной событиям первой четверти XX века, «Воспоминания о Московской духовной академии» С.А. Волкова, или «Finis Academiae», как называл их сам автор, занимают совершенно исключительное место. Они — уникальны. Их автор оказался единственным летописцем и бытописателем последних дней крупнейшего духовного центра России, о котором мы практически ничего не знаем. Впрочем, точно так же мы почти ничего не знаем и о русской Церкви, ее людях, их жизни, быте, не говоря уже о том огромном объеме идей, которые питают этот пласт нашей национальной (и мировой) культуры, а не только культа.

Вниманию читателей предлагается глава из книги С.А. Волкова.

Андрей Никитин

С.А. Волков

П.А. Флоренский

Отдав дань бытописанию и несколько анекдотической стороне жизни Академии, я перехожу к воспоминаниям о человеке, с которым не был близок, но который своей жизнью и своими трудами наложил неизгладимый отпечаток на всю мою последующую жизнь. Бывают люди, чье имя с ранних пор окружено легендами. Постепенно они и сами становятся легендой и так переходят в историю. Павел Александрович Флоренский, имя которого уже не раз мелькало на страницах этих воспоминаний, принадлежит к их числу. Он родился и вырос в Тифлисе, окончил физико-математический факультет Московского университета, затем — Московскую духовную академию, стал ее профессором, священником, настоятелем домового храма Общины Красного Креста в Сергиевом Посаде, работал после закрытия Академии в научно-исследовательских институтах Москвы, был сослан в Сибирь, где занимался проблемами вечной мерзлоты, был переведен в страшные Соловки, где изучал водоросли Белого моря, и кончил свою жизнь неизвестно когда и где.

Впервые о Флоренском я услышал еще в гимназии от моего друга Алексея, сына профессора А.А. Спасского, читавшего историю древней Церкви. К моменту моего поступления в Академию профессора уже не было в живых, но до этого я бывал в их доме, а потом и читал его труды, которые мне нравились и увлекали. «История догматических движений», «Эллинизм и христианство» были написаны не только живо, но, я бы сказал, еще и изящно.

Спасский был ученым французского типа, который умел хорошо обобщать и увлекательно излагать свои и чужие мысли. Последние годы своей жизни он интересовался историей гностических учений и готовил книгу на эту тему¹. Флоренский был учеником Спасского, а после выхода последнего на пенсию часто посещал его на дому и много с ним беседовал. Алексей, как старший сын Спасского, иногда присутствовал при этих беседах, об остальном ему рассказывал отец. Так это становилось известным и мне.

Шестнадцатилетним гимназистом я имел весьма смутные представления о философии. Меня увлекала история древнего мира, волновала поэзия Тютчева и символистов, стихи которых я стал разыскивать в журналах, а книги брать в частной городской библиотеке. Как ни покажется странным, в гимназической библиотеке русская литература заканчивалась А.П. Чеховым и В.Г. Короленко. О символистах мои товарищи не имели никакого понятия, а учителя, если я их спрашивал, отзывались о тех со снисходительным, а то и с грубым пренебрежением.

— Мы такой дряни у себя не держим! — заявил как-то наш горе-словесник, когда я попросил у него в гимназической библиотеке стихи К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова.

А я ощущал у символистов подлинную поэзию, видел в них действительных преемников Тютчева, Лермонтова, Пушкина и Фета, тогда как всякие Коринфские, Ратгаузы и Фруги представлялись мне подлинными декадентами, то есть поэтическими вырожденцами...

Поговорить и посоветоваться мне было не с кем. Единственной отдушиной в моих неосознанных духовных и литературных поисках оказывался Алексей, если же заглянуть глубже, то даже не он, а отраженный им Флоренский. Сейчас, вспоминая историю своего духовного взросления, я понимаю, как часто ни в школе, ни в среде товарищей, ни дома не подозревают, какими чувствованиями, какими идеями живет и дышит подросток, откуда он достает пищу для ума и души. Огромной поддержкой было для меня узнать от Алексея, что Флоренский не только ценит символистов, но со многими из них дружен и близок и его собственные взгляды близки Вячеславу Иванову, Андрею Белому и Валерию Брюсову. Подобным же рассказам я обязан возникновением интереса к философии и мистике, к сочинениям Владимира Соловьева, которые, в свою очередь, послужили для меня как бы пролегоменами к той дивной области, где царят Логос и София. Так, сам того не ведая, Флоренский уже в гимназические годы стал моим духовным учителем, хотя увидел я его впервые только на лекциях в Академии.

Но до этого было пока еще далеко.

Алексей рассказывал мне, что Флоренский готовит к печати большую религиозно-философскую диссертацию — «Столп и утверждение Истины», в которой рассматривает основные вопросы бытия, причем свою книгу собирается посвятить самой Божией Матери. Нам казалось это огромной смелостью и даже дерзостью. Достаточно напомнить, что говорилось это в 1914 году, когда понятия «кощунство» и «святотатство» были весьма действенными в уголовном законодательстве России. Но действительно, по выходе книги в свет можно было прочесть напечатанное там посвящение «Всеблагоуханному и Пречистому Имени Девы и Матери»².

Книга была издана узорчато и замысловато: с заставками из редкого издания петровского времени «Символы и эмблемата»³, витиеватым «елизаветинским» шрифтом, который по первоначальному замыслу Флоренского должен быть столь мелок, что его следовало читать с лупой. По словам Флоренского, переданным Алексеем, это требовалось для того, чтобы читатель подходил к книге со вниманием, читал ее с трудом, вникая в содержание, а не рассеянно пробегая глазами строчки... Тогда этот замысел мне понравился. Потом я понял его нелепость. Книга и так оказалась достаточно трудной для понимания. Что же касается внешних факторов, таких, как шрифт, виньетки, заставки и прочее, то все это является мишурой, не облегчающей понимание, а только мешающей читателю, загораживающей от него смысл слова и фразы. Книга должна быть написана и напечатана так, чтобы между читателем и мыслями автора стояло как можно меньше препон. Истину незачем усложнять хитросплетениями — это «византизм», как чутко и справедливо заметил В.В. Розанов⁴, причем не творческий, а упадочный.

Уже потом, познакомившись с книгами средневековых философов и мистиков, изданными в XVI веке, я понял, откуда Флоренский заимствовал идею оформления своей книги, — микроскопический шрифт, заставки, инициалы, концовки... Так издавал бы свой труд Пико делла Мирандола или Агриппа Неттесгеймский⁵.

Подобная книга, изданная для соискания ученой степени в Московской духовной академии, была, конечно, неприемлема. Поэтому, выставляя свой труд в качестве магистерской диссертации, Флоренский издал ее в сокращенном виде без посвящения, аллегорических рисунков и под более скромным заглавием: «О духовной истине. Опыт православной теодицеи». И все равно, как мне говорил впоследствии архимандрит Иларион, знаменитый в те годы ученый архиепископ Антоний (Храповицкий) отозвался о работе Флоренского достаточно резко, сказав:

— Или я уже ничего больше не смыслю в философии, или это просто хлыстовский бред!

Рассказывая об этом в 1919 году, Иларион добавил, что хотя он весьма чтит и уважает владыку Антония, видя в нем «столп православия», однако готов согласиться только с первой половиной его суждения, поскольку, занятый делами церковного управления и общественности, Антоний «порядком поотстал от философии и недооценивает ее новейших направлений».

Но все это будет много позже. А тогда я расспрашивал Алексея о Флоренском при каждой встрече, и в этих рассказах меня поразил еще один случай.

Как-то во время прогулки мы заговорили о буддизме. По своей наивности я готов был считать буддизм своего рода язычеством, чем-то вроде шаманства. Алексей объяснял, что это глубокое философское учение, в котором заложена огромная сила, особенно в идеях кармы, перевоплощения и нирваны. Он рассказал, что буддизм пользуется большим успехом в Европе, в том числе и в России, а под Петербургом в Новой Деревне воздвигнут даже буддийский храм. По-видимому, Алексей сам тогда увлекся идеями буддизма, почему и говорил о нем как о серьезном сопернике христианства.

Тогда же он рассказал, что Флоренскому как-то пришлось навестить одного тайного русского буддиста, причем не только из богатых, но кажется даже из высокопоставленных лиц в Петербурге. Любезный хозяин показал гостю свою тайную буддийскую молельню, где стояла статуя Будды, цвели лотосы и находились другие принадлежности культа, и тут же совершил моление, возжигая какие-то душистые палочки и окуривая ими себя и гостя. По словам Флоренского, эти действия привели его в ужас. Он говорил отцу Алексея, что в тот момент отчетливо почувствовал присутствие в молельне каких-то неведомых сил, которые для Флоренского были, конечно, силами ада.

А мне это напомнило другой случай и другой рассказ, услышанный тем же летом, когда я гостил в Маврине, верстах в двадцати пяти от Сергиева Посада, у старой тетки-учительницы.

При мне к ней в гости зашел тамошний сельский священник. Незадолго до того ему пришлось побывать у местного колдуна по какому-то делу и говорить с ним. Священник признался, что ему было страшно:

— Уж очень пронзительные глаза у него, точно сила какая-то из них выскакивает...

Меня удивил этот страх, как оказалось, одинаково присущий и захудалому сельскому священнику, который за требами и хозяйственными заботами позабыл всю свою скромную семинарскую премудрость, и ученому богослову-мистика, тоже священнику. «Неужели они, — думалось мне, — люди духовного сана, служи-

тели Божии, обладающие силою и властью «вязать и отпускать», не ощущают в себе той благодати, которая проявляет через них эту силу и власть?! Они трепещут даже не перед «темными» силами, а просто перед непонятным и неведомым...» И невольно вспомнилось предание, как преподобный Сергей одной только пламенной молитвой изгнал угрожавших ему бесов. Или теперь благодать покинула церковь? Все это побуждало к долгим раздумьям, к поискам ответов на встававшие передо мной вопросы веры, разжигало любопытство по отношению к Флоренскому...

Гимназистом старших классов я часто бродил по стенам Лавры; любил смотреть сквозь узкие бойницы на живописно разбросанные домики Сергиева Посада, утопающие в густых садах, которых тогда так было много, на ширь расстилавшихся вокруг полей, подходивших вплотную к городку, на совсем близкие леса, уходящие к горизонту... Проходя по восточной стене, я взглядывал на окна академической библиотеки. Летом они часто бывали открыты и в глубине залов можно было видеть огромные шкафы и стеллажи, заполненные книгами, где, по-видимому, работал и Флоренский. Но встретил я его только на первой лекции, осенью 1917 года, и эта встреча, естественно, врезалась в память на всю мою жизнь.

...Самая большая аудитория Академии переполнена. Минут за десять до звонка уже стоят в проходах, вдоль стен, сидят на подоконниках, толпятся возле двери. Звенит звонок, и появляется Флоренский — среднего роста, слегка горящийся, с падающими до плеч черными, слегка вьющимися волосами, с небольшой кудрявящейся бородкой и очень большим, прямо гоголевским носом. Он бочком пробирается, почти протискивается сквозь толпу и выходит к столику перед студенческими скамьями. Сзади — большая доска. На кафедре Флоренский никогда не поднимался. И сразу наступает тишина.

Он не казался красивым. Было нечто восточное во всем типе его лица, особенно в его «долгом» взгляде из-под припущенных век, который падал как-то искоса, скользил по собеседнику и словно уходил внутрь его. Он никогда не надевал свой магистерский крест: черная простая ряса и серебряный наперсный крест, как у рядового сельского священника. Забегая вперед, скажу, что Флоренский никогда не стремился к славе, никакие почести и отличия не привлекали его. Это проявлялось и в повседневности. Помню, как я был изумлен, когда при первой нашей встрече на мой простой, хотя и вежливый поклон он ответил чисто монашеским, низким, почти поясным поклоном! Можно сказать, что я «остолбенел». Потом мои друзья-монахи объяснили, что это его обычная манера кланяться. И все же даже годы спустя я не мог отделаться

от первого недоуменного впечатления. Каюсь, мне представлялось, что такое смирение — «смирение паче гордости» и в пояском поклоне Флоренского заключено что-то обидное для человека, которому так кланяются. Думаю, что так же воспринимали смирение его и люди типа Тареева, в поведении которых, пожалуй, даже подчеркивалось их «величие», и за эту противоположность Флоренского недолюбливали...

Но вернусь к первой лекции.

Движения Флоренского скованны, фигура несколько наклонена, голос звучит глухо и слова падают отрывисто. Вопреки ожиданию, в нем не было ни величественности позы и жестов, ни витийной плавности фраз. Речь лилась как бы изнутри, не монотонно, но и без риторических ухищрений и декламационного пафоса, не стремясь к красоте стиля, но будучи прекрасной по своему органическому единству.

Было некое магическое обаяние в его речи. Безо всякой усталости ее можно было слушать часами. Несмотря на глуховатый тон голоса, он живописал словами, вызывая соответствующие музыкальные отзвуки в душе слушателя, завораживающие всего его целиком. В течение двух академических часов и я сам, и остальные сидели буквально не шевелясь, отдаваясь потоку мыслей, возникающим ассоциациям и настроениям. И только потом, когда Флоренский кончил говорить и как-то внезапно исчез из-за столика, когда загудела аудитория, вставая, разминаясь, и потекла к выходу, я почувствовал, как у меня затекло и закаменело от неподвижности тело. До этого момента я его не ощущал. На лекциях Флоренского у меня как бы не было тела — оставался только дух, и он ревностно следил за течением мысли лектора.

За два года, что я учился в Академии, я не пропустил ни одной лекции Флоренского. Он их читал так, как если бы «писал вслух», поэтому они требовали от слушателей максимального внимания. Нужно было не потерять последовательность развития мысли, а вместе с тем уловить ту или иную особенность в произношении отдельных слов, поскольку Флоренский умел интонацией выделять неожиданные смысловые оттенки, подчеркивать едва уловимые нюансы, позволяющие ему делать поразительные сопоставления, иногда граничащие для слушателей с подлинным откровением. Точно так же при письме он использовал приемы индивидуальной орфографии при написании отдельных слов, в особенности слов с префиксами. Поэтому многим студентам его лекции казались трудными: «Уж очень он темно говорит и много приводит имен и фактического материала» — вот типичное отношение к его лекциям рядового студента, которому хотелось бы, чтобы наука была проще и легче, а диплом поскорее шел в руки. Действитель-

но, стиль речи и мысли Флоренского выделялись на фоне лекций других профессоров, но для меня они были понятны: я встретил в них то, что частично уже было мне знакомо по символистам и философам, которых читал.

Особенно запомнились мне лекции по истории античной философии. Дивный эллинский мир, знакомый еще с гимназии, представал теперь в новом своем аспекте происхождения культуры и искусства из древней мудрости. Ее прародину Флоренский усматривал в архаическом Египте, в мистериях крито-микенской эпохи и в более далеких, только еще угадываемых в начале XX века древних цивилизациях.

Глубоко и основательно объяснял нам Флоренский, что для нас и для будущего эта древняя мудрость — не археологическая только реликвия, ценная лишь своей курьезностью, а корень всего нашего познания, ключ к загадкам мира и человеческой души, наконец, питание, укрепляющее наши ведомые и неведомые силы. Отворачиваясь от этого источника, человеческая мысль хиреет, а творчество иссыкает, тогда как, происходя из этого первоначала и постоянно возвращаясь к нему, древо знания высится, крепнет и осеняет своими побегами землю, «принося плод мног».

Но особенно меня поразили лекции о Платоне.

Флоренский был платоником, поэтому, говоря о заветном, он достигал предельного совершенства. По этой же причине А.Ф.Лосев считал его истолкование идеализма Платона лучшим и никем не превзойденным во всей философской литературе⁶. Не только помыслить, но и ощутить можно было все, когда он говорил об идеях, раскрывая тайную сущность «мифа о пещере», или уяснял и развивал положения «Пира» и «Федра». После них я выходил прямо-таки опьяненный, чувствуя и себя в какой-то мере причастным этой поистине божественной жизни. Хотелось жить, мыслить, творить. Раскрывались глаза на мельчайшие детали окружающего мира, прекрасное начинало сиять и ласкать своей просветленностью. Зло переставало угрожать, оно постигалось как тень, как всего лишь отсутствие прекрасного. Оставаясь в мире, оно не делало человека беспомощным и слабым; наоборот, звало к борьбе, к подвигу, к отречению от зла в самом себе для победы над мировым злом...

Сила лекций Флоренского, как я уже говорил, была поразительной. Он не только живописал. Он очаровывал, подобно Орфею, магически овладевал душой слушателя, превращая ее в воск или глину, из которой затем лепил свои создания. Особенностью моей природы было то, что определялось когда-то словом «визионерство»: явление, поразившее меня чем-то в реальности, возвращалось претворенным в сонном видении, где трансформировалось,

уточчалось и углублялось до невыразимости, но в то же время становилось в своих образах понятнее и доступнее. Один из таких снов я увидел после цикла лекций о Платоне. Какие-то светлые существа (даймоны Платона!) увлекли меня в сказочную страну, которая возникает разве что на картинах итальянских прерафаэлитов, — прозрачные потоки среди холмов и долин, покрытых цветами и деревьями, усеянными плодами, прозрачные голубеющие дали, замки и маленькие средневековые города... И в момент прощания зазвучала музыка, которая потрясла меня до слез.

Каково же было мое удивление, когда через некоторое время я услышал ту же божественную музыку в исполнении одного из моих знакомых, одаренного скрипача! Это была мелодия «Орфея» Глюка. И потом, когда она начинала звучать в концерте или по радио, я вспоминал свой сон, отчетливо сознавая, что до него мне никогда не приходилось ее слышать...

У меня сохранились планы двух лекций Флоренского — записи, сделанные уже дома, по памяти: сухой скелет услышанного. Многие записывали во время лекций, но я этого не делал сознательно. Оправдана только стенографическая запись, иначе искажается стиль, а вместе с ним и смысл. Кроме того, записывая, что-то обязательно пропускаешь мимо ушей, и отсюда возникает нарушение связности и понимания, особенно когда прислушиваешься к такому мастеру, как Флоренский, у которого очень многие мысли и выводы опираются на малозаметные акценты речи. Дома я записывал основные положения и моменты, позволяющие потом вспомнить все остальное. Таких листов у меня было много, но они, к сожалению, погибли в жизненных перипетиях. Впрочем, я не особенно и старался все записать, поскольку сам Флоренский говорил нам, что уже готовит к печати курс лекций и первый их выпуск уже увидел свет⁷.

Увы, события последующих лет помешали выходу дальнейших выпусков...

Итак, вот план этих двух лекций — о знании:

«1. Знание. Наше отношение к нему. Взгляд В.А. Кожевникова на этот вопрос. Два типа знания: естественное и искусственное. Антропоцентризм первого (но не в смысле протагоровского — «человек — мера вещей»), антропизм второго. «Научное мирозерцание» как второй тип знания. Его стремление к безусловной объективности. Невозможность этой объективности. Неизбежность «человеческого» во всех научных отвлечениях, как их первоосновы.

2. Продолжение и развитие той же темы. Различие «научного мирозерцания» и науки. Первое как позднейшее и смутное эхо последней. Догматизация «научным мирозерцанием» гипотез и методов, являющихся для науки «поскольку — постольку». При-

существование известного элемента этой догматизации и в самой науке. Научная хитрость. Неотвечание прямо на вопрос как основной смысл последовательного и кропотливого анализа. «Смазывание» проблем посредством введения бесконечно великого для обозначения протяженности этого процесса. Перенесение в бесконечно давние времена или в неопределимое будущее как способ бездоказательного доказывания проблемы.

Исторический обзор роста идей «научного мировоззрения». Ренессанс как эпоха богоборческая. Философское значение великих открытий. Коперник — Птолемей. Роль великих открытий в деле сведения к нулю значения Земли и отсюда в деле уничтожения различий, индивидуальных окрасок».

Конечно, здесь не найти ни аргументов, ни блестящей диалектики автора, парадоксов, которые сначала ошеломляли, а затем поражали глубиной проникновения в сущность вопроса, остротой и четкостью его разрешения; нет здесь и той красочности — я сказал бы даже *пахучести* — слова, его мелодического звучания и семантической насыщенности — всего того, что делало лекции Флоренского шедевром, а слушание их — праздником мысли и духа...

В таком маленьком городке, как Сергиев Посад, любая мелочь оказывается всеобщим достоянием и делается предметом пересудов, в том числе и личная жизнь человека. Естественно, что студентов интересовали их профессора, о них говорили много и по-разному, но я никогда не слышал никаких замечаний и рассказов о домашней жизни или «слабостях» Флоренского. Все разговоры о нем сводились исключительно на философские и мистические темы. Одни были готовы объявить его теософом, другие — спиритом и чернокнижником, третьи — магом... Приведу один рассказ, очень характерный в отношении к Флоренскому.

Когда он был еще студентом Академии, его заболевшего товарища поместили в академический лазарет. Флоренский пришел его навестить. Третьим в палате был еще один студент, в то время дремавший. Когда же он проснулся, то, по его словам, Флоренский сидел на полу на подушке, поджав по-турецки ноги (привычка грузинского детства?!), на коленях у него лежала огромная книга, из которой он читал нараспев на непонятном языке, раскачиваясь вправо и влево, а его товарищ лежал на кровати, вытянувшись как мертвец. Картина произвела столь жуткое впечатление на рассказчика, что от ужаса тот... заснул!

Приснилось ли это рассказчику или для характеристики Флоренского была использована предпоследняя сцена «Песни торжествующей любви» Тургенева? Бог весть. И все же случай этот показывает, что и в Академии Флоренского считали не вполне «своим». Видимо, такова судьба любой незаурядной личности: вначале она

вызывает у окружающих любопытство, потом — подозрительность, наконец, страх и даже осуждение...

Мне не часто приходилось разговаривать с Флоренским на дому или в академической библиотеке. Он был не слишком общителен и в этом отношении не походил на протоиерея Воронцова или профессора Глаголева, готовых без конца говорить со студентами и дома, а еще точнее, продолжать чтение лекций у себя в кабинете, ибо иначе как лекциями их монологи назвать трудно. Насколько мне известно, некоторые студенты одолевали Флоренского своими посещениями, но тот, если не хотел до конца обнажать свою мысль, начинал говорить темно и сложно, так что слушатель оказывался в недоумении. Бывало, что в такой момент Флоренский вдруг умолкал. И молчал довольно долго, а потом, словно очнувшись, начинал говорить о чем-либо другом. В.В. Розанов, знавший его долго и близко, очень точно подметил такой момент в своих записях: «Флоренский посмотрит долгим взглядом — и ничего не скажет...»⁸

Столь же образно это свойство его отмечено в изданной к 100-летнему юбилею Академии редкой брошюре, озаглавленной «Academiae Historia Arcana»: «Павел поп от многая его учености речь ведет темную и неудобь вразумительную: глаголет бо аще и языком русским, обаче словеса его Павловы иноземныя...»⁹

Впервые к Флоренскому я попал осенью 1917 года. Помню, что я волновался, когда шел к нему. Мне надо было посоветоваться относительно задуманного мной семестрового сочинения о Гоголе. В то же время я хотел увидеть человека, которому втайне поклонялся, в его домашней обстановке, поскольку она всегда способствует раскрытию характера, вкусов и привычек, а пожалуй, даже и стиля мышления хозяина.

Меня провели по коротким сенцам, затем небольшим коридорчиком, и я оказался в кабинете, стены которого были сплошь заставлены книжными шкафами. Их глухие деревянные дверцы надежно скрывали содержимое от любопытствующих взоров. Заглянуть в них мне удалось гораздо позднее, уже без Флоренского... На дверцах — небольшие застекленные фотографии: виды Акрополя, Пестум, снимки с античных статуй и барельефов. В углу — киот с иконами, перед ним — зажженная лампада. Напротив — небольшой, очень простой стол, на котором нет никаких «письменных приборов», а только чернильница и ученическая ручка с пером.

Я задавал вопросы, а Флоренский отвечал — глухим, как бы слегка надтреснутым голосом, с большими паузами, во время которых он словно бы забывал обо мне и, устремив мимо меня взгляд, погружался в созерцание собственных видений. В такие минуты

наступала томительная тишина. Но вот хозяин кабинета как бы просыпался, с недоумением смотрел на меня, словно что-то вспоминая, и опять продолжал прерванный разговор. При этом он смотрел не прямо, а куда-то вкось, и лишь изредка взглядывал на меня пронзительным и долгим взором, словно пытаюсь заглянуть в самую глубину души. Было в этом взгляде нечто, идущее от древности, от иерофантов* Элевсина и Египта. Вероятно, то же самое чувствовали и три футуриста, в числе которых был и Велимир Хлебников, когда они навестили Флоренского, чтобы предложить ему войти в число «Председателей Земного Шара», но так и не посмели об этом сказать, выслушав его лекцию о законе «золотого сечения»...¹⁰

В тот раз я получил у Флоренского не только консультацию по вопросам моего сочинения. На улицах и в учебных заведениях, в учреждениях и в домах, когда собирались знакомые, шли споры о том, что такое «свобода» и какой она должна быть. Вот и Флоренский в беседе со мной между прочим заметил:

— Теперь все говорят и даже кричат о свободе, а мало кто знает, в чем она заключается. Глупый человек, подавленный суетой, в самой демократической стране не почувствует свободы, не сумеет воспользоваться ею, а истинный мудрец может чувствовать себя свободным даже в обстановке насилия и рабства...

Я хорошо запомнил эти слова, которые помогли мне выявить суть идеи, смутно чувствуемой и ранее. И в последующие годы они не раз бывали для меня поддержкой и утешением в различных трудных обстоятельствах моей жизни.

Насколько мне известно, Флоренский никогда не принадлежал никакой партии и, по-видимому, не интересовался политикой и не любил ее. Попросту говоря, он был человеком консервативного склада мысли, видя в противоположном направлении элементы Хаоса, которым считал себя обязанным противостоять во имя Логоса. В 1923 году известный «обновленец» протоиерей А.И. Введенский писал, что «перед самой революцией о. Флоренский поместил на страницах одной из правых московских газет статью, где требовал догматического признания органической связи православия и самодержавия... Полное слияние божеского и человеческого, низведение небесного царя на землю и возведение земного царя на небесный трон. Такого апофеоза не знала, не смела знать Византия. Требование о. Флоренского прозвучало уже тогда, когда даже нечуткое ухо определенно слышало подземные раскаты приближающейся революции»¹¹.

* Старшие жрецы, «всезнающие».

Статьи, на которую ссылается Введенский, я не нашел и о ней никогда не слышал. Правда, в критической статье Флоренского о книге В.В. Завитневича, посвященной Алексею Степановичу Хомякову, есть довольно схожее утверждение: «В сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, — милость Божия, а не человеческая условность, так что самодержавие царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную или государственную пользу»¹².

В этих словах нет догматизации самодержавия, но они ясно показывают, что Флоренский, говоря так, мыслил идеальный образ царской власти, который вряд ли уживался в его сознании с последним реальным его выразителем...

В связи с этим вопросом стоит напомнить, что, будучи еще студентом Академии, в 1906 году Флоренский издал под названием «Вопль крови» отдельную брошюру, обличающую бесчеловечный террор реакции. В ней напечатан текст проповеди, сказанной им в академическом храме 12 марта 1906 года. Вот что он писал: «Волны крови затопляют родину. Тысячами гибнут сыны ее — их вешают, расстреливают, тысячами переполняют тюрьмы. Вернулись времена безбожного царя Иоанна. Под видом «умирения» избиваются мирные крестьяне и рабочие. Людей, не имеющих куска хлеба, расстреливает живущий за счет их трудов. Женщин и детей и то не щадят — насилуют, оскорбляют на каждом шагу. Издеваются в безумном озверении... И мы молчим, все молчим, все умываем руки... не водой уже, как Пилат, а кровью, ибо нет теперь воды, не смешанной с кровью, нет воды, которая смыла бы кровь с Руси... Смотри, Русь святая, не оказаться бы тебе позорищем истории!»¹³

Страстный вопль Флоренского против братоубийственного кровопролития не услышали, а если он и был услышан, то очень скоро оказался забыт...

Задуманное мною сочинение о Гоголе, по поводу которого я шел советовать к Флоренскому — «Темные лики. Элементы тоски и ужаса у Гоголя (1812-1813)», — к весне 1918 года было закончено. В своем исследовании я хотел показать, что эти элементы присутствовали в творчестве нашего классика с самого начала, а не появились только в конце жизни. Я много поработал, просмотрел много трудов о Гоголе и предпослал сочинению небольшое методологическое вступление. Получилась объемистая тетрадь более полутора страниц. Флоренский похвалил вступление и мое старание, но заметил, что это скорее литературоведческая, чем философская работа. А чтобы меня утешить, посоветовал рассмотреть и осталь-

ной период творчества писателя, создав, таким образом, «чисто профессорский том», как он выразился не без некоторой иронии.

И тут же, как бы в назидание, Флоренский заговорил о сочинении моего сокурсника, священника Михаила Спасского, небольшом по размеру, зато весьма насыщенном и глубоком, тоже посвященном Гоголю. Спасский сумел показать в своей работе роль лунного света в гоголевских описаниях, связав его с некоторыми особенностями мироощущения и миропонимания писателя, причем привлек при этом некоторые моменты из книги Розанова «Люди лунного света». И тут же, правильно почувствовав мое состояние, Флоренский предложил прочесть это произведение. Конечно, он был совершенно прав в своих оценках! Компактная, четкая и ясная работа Спасского была именно философским исследованием, тогда как мой «труд» оказался перегружен биографическими материалами, совсем не затронутыми философским осмыслением...

Сам Флоренский умел и говорить, и писать так, что слушатель или читатель мог, перечитывая или обращаясь мыслью к услышанному, еще долго открывать для себя разнообразнейшие пласты идей и чувств, очерченные немногими фразами. Его идеализм истекал из двух источников — философии Платона и христианского учения. Конечно, христианство доминировало; Платонова мудрость рассматривалась только как прообраз христианского откровения. Здесь Флоренский словно бы шел по стопам Климента Александрийского, который пытался объединить философский эллинизм с христианскими догматами. Вот почему «Столп» Флоренского столь же узорчат и энциклопедичен, как и «Строматы» его египетского предшественника.

Здесь можно найти Библию, творения отцов и учителей Церкви, средневековую схоластику и мистику, новейшее богословие вплоть до католических неотомистов и русских «богоискателей». А вместе с ними — мудрость языческих мыслителей от элеатов до Плотина и Ямвлиха, которая через отреченный гностицизм расцвела в философии средневековых реалистов и перешла в романтико-идеалистические течения нового и новейшего времени. Здесь найдется экзотика Каббалы, умноженная хитросплетениями Талмуда, солипсическое визионерство браминского и ламаистского Востока, трансформация его в современном оккультизме и пытающиеся быть эзотеричными, а одновременно — наукообразными теософия и антропософия. И тут же рядом — тяжеловесные, не всегда приемлемые плоды науки: Флоренский не игнорировал и ее тучных нив и огородов...

И хотя Флоренский неоднократно и подчеркнуто говорит о своем православии, хотя в предисловии к «Столпу» почти отрекается от суетной мудрости мира сего, рассматривает и выявляет от-

носительность человеческого познания и беспомощность познающего «я», его ничтожество перед сокровищами святоотеческого духовного опыта, сравнивая творения учителей и апологетов Церкви с «водопадом из камней самоцветных» (чисто византийский образ!), он не преминет прибегнуть и к суровым истинам математики, к запасам фактов и наблюдений, нагроможденных в кладовых естествознания, к «афинейским» хитросплетениям свободомыслящих философов и к еще более опасным поэтам светским...

В то же время Флоренский был глубоко искренен и говорил от чистого сердца, когда проповедовал смирение и возвеличивал мир христианских аскетов и пустыннолюбцев. Скепсис преодолевается у него лишь христианской любовью, относительность всего и вся в человеческом мире — лишь опорой на Церковь, которая и постулируется им как «столп и утверждение Истины», а обреченная бескрылость рационалистического познания — лишь экстатическим опытом молитвы и подвига.

«Столп и утверждение Истины» вызвал довольно жаркие споры в академических кругах. Духовная профессура в большинстве своем чрезвычайно лестно и высоко оценивала этот труд. С.С. Глаголев прямо назвал его «гениальной книгой». Тогдашний ректор Академии, епископ Феодор, отметивший, что «книга о Павла — явление исключительное», в завершение своего отзыва счел нужным заметить: «Быть может, я не оценю по достоинству эту книгу, если признаю ее достойной степени магистра, а не высшей ученой степени». Совсем другую оценку заслужил Флоренский у своего противника, профессора М.М.Тареева, который писал, что у Флоренского «принцип отечества», проводимый сверху, есть принцип провинциального католичества; проводимый снизу, есть принцип замаскированного протестантства; всегда он есть принцип произвола... И в заглавии книги, и в ее тексте автор афиширует церковно-отеческие источники, но его книга в своем содержании не имеет ни одной черты христианской философии: это не что иное, как *спиритическая философия*».

А вот что пишет о Флоренском, по-видимому, сам П.А. Флоренский в 44-м томе «Энциклопедического словаря Товарищества Гранат»: «Свою жизненную задачу Флоренский понимает, как продолжение путей к будущему цельному мировоззрению. Основным законом мира Флоренский считает принцип термодинамики — закон энтропии, всеобщего уравнения (Хаос). Миру противостоит закон атропии (Логос). Культура есть борьба с мировым уравнением — смертью. Культура (от «культ») есть органически связанная система средств к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, которая принимается за безусловную и потому служит предметом веры. Вера определяет культ, а культ — миропонимание, из

которого далее следует культура. Всеобщая мировая закономерность есть функциональная зависимость, понимаемая как прерывность в отношении связей и дискретность в отношении самой реальности. Эта прерывность и разрозненность в мире ведет к пифагорейскому утверждению числа, как формы, и к политике истолкования «идей» Платона, как прообразов»¹⁴.

После Октябрьского переворота, который Флоренский воспринял в том духе, который выразил в своих знаменательных словах о «свободе», он постепенно начинает сотрудничать с новой властью, принимая самое деятельное участие в работе Комиссии по охране научных и художественных ценностей Троицкой лавры. Интересуясь вопросами искусства, он читает многочисленные доклады в московских искусствоведческих обществах, печатает статьи в журнале «Маковец». Позже он начинает работать в московских научно-исследовательских институтах, причем какое-то время был очень близок с Л.Д. Троцким, который его уважал и ценил. Из достоверного источника мне довелось услышать рассказ, как произошла их первая встреча.

Троцкий приехал во Всесоюзный электромеханический институт. Флоренский, который постоянно ходил в рясе и с крестом, решил не создавать неловкости для начальства и остался в лаборатории. Едва только Троцкий вышел из машины и поздоровался с директором, как тотчас же спросил о Флоренском. За тем побежали. Сотрудники образовали две шеренги. Между ними на одном конце стоял Троцкий с директором института, на другом — появился Флоренский. Они пошли навстречу, директор представил их друг другу, и Троцкий, взяв под руку Флоренского и не обращая внимания на остальных, отправился к нему в лабораторию...

Другой эпизод, более позднего времени, рассказанный одним из моих бывших учеников в 1925 году. По людной московской улице марширует комсомольский отряд. Движение экипажей приостановилось. В открытом автомобиле, тоже остановившемся, сидят Троцкий и Флоренский — по своему обыкновению, в рясе, скуфье и с наперсным крестом; они беседуют, не обращая внимания на окружающих. Комсомольцы, поглядывая на них, угрюмо ворчат: «Видно, нами скоро попы командовать будут...»

Трудно сказать, что влекло Троцкого к Флоренскому, о чем они разговаривали и какие вопросы обсуждали, может быть, самые для нас неожиданные. Бессменный хранитель академической библиотеки и тогда, когда она стала филиалом Румянцевского музея, К.М. Попов рассказывал мне, что Л.Д. Троцкий однажды затребовал из нее какое-то редкое сочинение мистического автора на немецком языке... об ангелах! Книга была не переплетена. Троцкий вернул ее уже переплетенной, и Попов сделал на ней соответ-

ствующую надпись. Кто, как не Флоренский, мог рекомендовать ему эту книгу и указал на ее существование в академической библиотеке?

Мне думается, что именно дружба с Л.Д. Троцким и Н.И. Бухариным столь трагично отразилась на дальнейшей судьбе Флоренского, бравировавшего своим священническим саном слишком долго. В 1930 или 1931 году его сослали в Нижний Новгород, но вскоре вернули к прерванной работе; потом сослали уже в Сибирь, в область вечной мерзлоты, которой он занимался там вместе со своим другом, университетским профессором П.Н. Каптеревым, сыном профессора Академии Н.Ф. Каптерева. Каптерев вернулся в Москву, а Флоренского отправили на Соловки. И хотя оттуда какое-то время приходили письма и родные однажды даже добились возможности свидания с ним, обстоятельства, время и место его гибели так и остаются невыясненными...

В судьбе и в жизни Флоренского вообще много загадочного. Я возвращаюсь мыслями к загадке его дружбы с Троцким — и не могу понять, что связывало политика, оратора, человека действия с философом и мистиком, постоянно пытавшимся уйти от вопросов реальной жизни, не участвовать в ее событиях? Вот характерный случай.

Незадолго до вскрытия мощей преподобного Сергия, когда стало известно, что, невзирая на протесты верующих, мощи все-таки будут вскрыты, одна из видных прихожанок нашего академического храма, будучи потрясена такой перспективой и не зная, что делать, чтобы «уберечь Преподобного от поругания», решила обратиться за помощью к Флоренскому. Поскольку с Флоренским она не была знакома, то попросила меня ее сопровождать.

Дома мы Флоренского не застали: он был у Олсуфьевых, на Валовой улице, куда мы и направились. Вызвали Флоренского. Разговор происходил в больших светлых сенях олсуфьевского дома. Моя спутница, плача, умоляла, почти заклинала отца Павла воспрепятствовать вскрытию раки Сергия, просила искать покровительства Троцкого, внушить ему, что не следует оскорблять чувств верующего русского народа.

Флоренский чувствовал себя неловко. Он говорил нам об историческом и мистическом значении Преподобного, о том, что вскрытие — не оскорбление, а своего рода новый подвиг для Сергия, который, таким образом, становится после своей смерти еще и мучеником... Ничего реального он посоветовать не мог. К Троцкому обратиться отказался и постарался поскорее распрощаться с нами. Чувствовалось, что все это его мучит и тревожит, но что сам он беспомощен и растерян. Мы явились к нему посланцами другого

мира, которого он не хотел знать, потому что... не понимал? Или, наоборот, понимал слишком хорошо? Не знаю...

Заканчивая его портрет, не могу умолчать о случайной с ним встрече, которая особенно врезалась в мою память.

Это было зимой того же 1919 года. Я шел по Вифанской (теперь — Комсомольская) улица, направляясь к железнодорожной линии. Уже наступила глубокая ночь. Мороз окутал инеем ветви деревьев, резко хрустел под ногами снег, а в небе, в бесконечных пространствах, сияла зимняя сиреневая луна.

Внезапно из-за угла Вальной улицы появилась фигура Флоренского в его обычной черной рясе. Очевидно, он возвращался домой от Олсуфьевых, у которых тогда часто бывал.

Было что-то таинственное во всем его облике. Черные волосы, выбивавшиеся из-под скуфьи, сверкающие под лунной стеклами очков, за которыми не было видно глаз, большой, устремленный вперед «гоголевский» нос, несколько склоненная вбок голова, а главное — черная длинная ряса с развевающимися полами и широкими рукавами — все это отчетливо выделялось на сверкающем синеватом снегу. Шагов Флоренского почти не было слышно в льдистой тишине, и казалось, что он не идет, а медленно летит среди оцепенело спящего мира.

В эту минуту я увидел не знакомого профессора, чьи лекции слушал с таким восторгом, а таинственного мага из древней страны Мицраим, улетающего в неведомую для нас даль...

Примечания*

- 1 Под псевдонимом «А. Сотерский» А.А. Спасский напечатал «Общедоступные лекции по истории западноевропейского Средневековья» («Богословский вестник», 1910, № 2-12). Было и отдельное издание.
- 2 См.: Флоренский П. Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи. М, 1914.
- 3 «Символы и Емблемата, указом... императора московского великого государя Петра Алексеевича напечатаны». Амстердам, 1705.
- 4 «Осложнить вдохновение хитростью — вот Византия. Такова она от перепутанностей дворцовой жизни до канонов и до заставок на рукописях» (Розанов В. Опавшие листья. СПб, 1913, с. 335).
- 5 Пико делла Мирандола (1463-1494) — один из видных деятелей итальянского Возрождения; изучал творения неоплатоников и Каббалу. Агриппа Неттесгеймский (1487-1535) — германский ученый и мыслитель, пытавшийся соединить идеи неоплатонизма с магией и христианством. Современники считали его чернокнижником. См.: Агриппа Неттесгеймский. Знаменитый авантюрист XVI в. Критико-биографический очерк Ж. Орсье. Под ред., с введением и примеч. Валерия Брюсова. М., 1913.

* Примечания принадлежат С.А. Волкову.

- 6 Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии, т. 1. Издание автора М., 1939, с. 680.
- 7 См.: Флоренский П.А. Первые шаги философии. Из лекций по истории философии, вып. 1. Сергиев Посад, 1917 (печатались в «Богословском вестнике» за разные годы).
- 8 Розанов В. Опавшие листья. СПб, 1913, с. 414.
- 9 Это была небольшая брошюра, размером, приблизительно, в $\frac{1}{4}$ листа, страниц около 50. На обложке справа, вверху — «На правах рукописи». В середине название «Academiae Historiae Aegaeae». Внизу — «Сергиев Посад. Типография И.Иванова. 1914». Она содержала ряд стихотворений и песен из академического фольклора. Так, в одном из стихотворений, подражающем «Песни о вещем Олеге» Пушкина, рассказывается, как инспектор Академии, иеромонах Кирилл, пытается скрутить студентов и спрашивает об успехе своего предприятия у ректора, архимандрита Лаврентия. Другое произведение, по словам С.С. Глаголева, написанное протоиереем Д. Рождественским, озаглавлено так: «Из сборника ко дню 200-летия МДА. Памяти почивших начальников и наставников Академии не только из лиц белого духовенства и светского звания, но даже иноческого чина. Сергиев Посад, 2014». Далее следует памфлет на архимандрита Илариона и некоторых монастыряющих начальников Лавры — архимандрита Товию, архимандрита Досифея и пр.: «Размышления над аквариумом. После иноческой трапезы и послеобеденного отдыха».
- К сожалению, текста у меня не сохранилось. В нем рассказывается, как Иларион, глядя на стоящий в его приемной аквариум, задумывается о рыбе и об икре и приходит к мысли, что полезно было бы монахам Лавры для кандидатских сочинений писать об икре: иностранных и древних языков они не знают, а тут могли бы писать на основании личного опыта. Им же было бы лестно получить кандидатский значок, тем более что некоторые из них иногда достигают высоких степеней. Правда, тут же Иларион с иронией отмечает, что значок этот для них не подходит: он был бы «яко усерязь злат в ноздрех свиния». Затем Иларион якобы с грустью размышляет, какие высокие звания носят восточные патриархи — «Папа», «Судия Вселенной», «Тринадцатый Апостол» — будучи при том всего-навсего «рабами султана», но, спохватившись и воскликнув — «Не введи меня во искушение!» — кричит: «Василий, чаю!»
- Язык памфлета острый и меткий, совсем в духе высказываний Рождественского, когда он, выражаясь словами Н.С. Лескова при описании Аввакума Китайского («Таинственные предвестия»), бывал «начитавшись этикеток»...
- Приведенные слова о П.А. Флоренском находятся в другом, самом интересном и значительном произведении сборника — «Челобитной на черного дьякона Трифона», о которой я говорю более подробно в связи с иеродиаконом Вассианом (Пятницким).
- «Тайная история Академии» была издана, по-видимому, крайне ограниченным тиражом и если имелась в академической библиотеке, то на руки студентам не выдавалась и я о ней ничего не знал приблизительно до 1925 г., когда получил ее от С.С. Глаголева, уже не в качестве ученика, а сослуживца по школе. Не менее любопытно и то, что название «Academiae Historiae Aegaeae» встречается в «Воспоминаниях профессора М.Д. Муретова» («Богословский вестник», 1916, № 10-12, с. 602) не как указание на определенную брошюру, а как своеобразный эзотерический термин в применении к аналогичному сборнику фольклорного порядка, только рукописному, который существовал в 1873-1877 гг. и был тогда же вскоре сожжен.
- 10 О поездке футуристов к Флоренскому в 1916 г. см.: Петровский Д.М. Воспоминания о Велимире Хлебникове. — ЛЕФ, 1923, № 1 (март), с. 145-147.

- 11 Введенский А.И. Церковь и государство. М., 1923, с. 13.
- 12 «Богословский вестник», 1916, № 6-7, с. 538-539. Было издано отдельной брошюрой «Около Хомякова», Сергиев Посад, 1917.
- 13 Флоренский П. Вопль крови. Слово в неделю Крестопоклонную. Сказано в храме МДА за литургией 12 марта 1873 г. от смерти И[исуса] Хр[иста]. М., 1906. Издание М-на и Х-ва. Стоит обратить внимание не только на содержание проповеди, в которой Флоренский, тогда еще не священник, обличает правительственный террор после подавления революции 1905 года и связанные с ним жестокие казни, но и на дату произнесения проповеди, отвлекавшую внимание цензуры от сиюминутных событий на нечто «прошлое» (1873 год!), хотя ее пересчет на действительное летосчисление от Рождества, а не от смерти Христа, с безусловностью указывает именно на 1906 г.

Позволю себе привести еще несколько выдержек, дающих представление об этом замечательном документе христианского — и гражданского! — сознания Флоренского.

«Безбожное дело убийства Сына Божия как бунтовщика, развращающего народ, свершилось. И этот урок, казалось бы, ужасом перед насильственной смертью должен наполнить душу всякого царя, всякого правителя, всякого священника, всякого патриота, всякого потатчика убийству. Теперь перенесемся через протяжение 19-ти веков в самый христианский центр считающегося самым христианским из государств <...> Иль вы не понимаете, что это вновь и вновь *Христа* расстреливают, и вешают, и бьют, и оскверняют? Не понимаете, что каждый выстрел направлен в тело Христово?.. Все это творится перед глазами нашими, перед глазами христиан! Стоны замученных и убиваемых, убитых без покаяния, вопли заключенных и оскорбляемых несутся к алтарю Всевышнего и заглушают наши молитвы. Слезы и рыдания тысяч матерей и сестер мешают нашим песнопениям. Бог не может быть с нами: по горло поднялась кровь пролитая; вот скоро захлебнемся в океане собственных преступлений <...> Смотрите, чтобы не сблылись над нами слова Господа Иисуса: «Да приидет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Да минует нас сие, Господи Иисусе! Не дай новым фарисеям вновь насмеяться над твоею смертью, когда вспоминают страдания Твои!..»

- 14 Приведу первую (биографическую) часть цитированной статьи: «Флоренский Павел Александрович, математик, физик, богослов. Род. в 1882 г. Окончил Московский университет в 1904 г., где работал главным образом на математическом ф-те под руководством Н.В. Бугаева и изучал на историко-филологическом ф-те философию под руководством С.Н. Трубецкого и Л.М. Лопатина. В 1904 г. поступил в Московскую духовную академию и сосредоточился главным образом на философии и истории религий. В 1908 г. был избран на кафедру истории философии. В 1914 г. защитил магистерскую диссертацию «О Духовной Истине» и в том же году принял сан священника, не занимая приходской должности. С 1919 г. начал работать в области техники; служит с этого времени в ВСНХ, сначала при заводе Карболит, а затем при Главэлектро, где занят вопросом об электрических полях и диэлектриках...» (Энциклопедический словарь Т-ва «Гранат», т. 44, 1926).

Публикация А.Л.Никитина